

В.В. Розанов
Христианство и язык

По изданию: Собрание сочинений. Том 28. Эстетическое понимание истории. Москва, 2009 г.

Впервые опубликовано в журнале «Энтелехия» № 13, 2006 г. под одноименным названием.

В своих заботах о воссоединении «рассыпанного стада Христова», епископ Римский, обращаясь в недавних энцикликах к народам Востока, уступает им, за подчинение в принципе своему Престолу, язык народности как литургический и священный. Отныне не всюду, где торжествует католицизм, будет звучать язык древнего Лациума, как единственный, на котором достойным образом душа человеческая может обращаться к Богу. Связь, казавшаяся неразрывною столько веков между умершим языком и вечно живою церковью, не признается более столь важною со стороны главы этой последней. Что это была за связь? каковы были ее последствия? каковы предвидимые последствия разрыва этой связи?

Мы будем вести наше рассуждение очень издалека; и читатель да не посетует на нас и не припишет отсутствию в нас сознания священности предмета, если мы начнем это рассуждение с примеров совершенно простых и грубых.

I

Между духом человеческим и словом как формой его выражения есть некоторое соотношение, которое то связывает их, заставляет взаимно тяготеть друг к другу, то их взаимно отталкивает. Мысль, *эта* определенная, с этим определенным *колоритом* вызревшая в душе человека, требует слова *этого* определенного, точнее — определенной колоритности в *связи* слов; и хоть может быть передана и другим словом или другою связью слов без того, чтобы стать непонятною от этого, — но именно будет в них только передана, а не выразится во всей полноте и живости своей. Лучше всего это можно видеть на связи стихотворных *размеров с содержанием* или *сюжетом*, который в них передается: так, сюжет, рассказанный Лермонтовым в стихах этого размера:

Ты хочешь знать, что видел я
На воле? — Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом...

и т. д. (из «Мцыри»), — ясно, что не мог бы быть передан в размере «Евгения Онегина» или, напр., в этом:

Но я не так всегда воображал
Врага святых и чистых побуждений.
Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ. Меж иных видений,
Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшебной-сладкой красотой,
Что было страшно... и душа тоскою
Сжималась — и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет...
Но я, расставшись с прочими мечтами,
От него отделался — стихами.

(из «Сказки для детей»)

Равно следующий изящный и грустный рассказ:

Это случилось в последние годы могучего Рима.
Царствовал грозный Тиверий и гнал христиан беспощадно,
Но ежедневно на месте отрубленных ветвей, у древа
Церкви Христовой юные вновь зеленели побеги.
В тайной пещере, над Тибром ревушим, скрывался в то время
Праведный старец, в посте и молитве свой век доживая;
Бог его в людях своей благодатью прославил.
Чудный он дар получил: исцелять от недугов телесных
И от страданий душевных. Рано утром однажды,
Горько рыдая, приходит к нему старуха простого
Звания, с нею и муж ее, грусти безмолвной исполнен.
Просит она воскресить ее дочь, внезапно во цвете
Девственной жизни умершую... «Вот уж два дня и две ночи. —
Так она говорила, — мы наших богов неотступно
Молим во храмах и жжем ароматы на мраморе хладном,
Золото сыплем жрецам их и плачем... но всё бесполезно!
Если б знал ты Виргинию нашу, то жалость стеснила б
Сердце твое, равнодушное к престелям мира! Как часто

Дряхлые старцы, любуясь на белые плечи, волнистые кудри,
На темные очи ее, молодели; юноши страстным
Взором ее провожали, когда, напевая простую
Песню, амфору держа над головой, осторожно тропинкой
К Тибру спускалась она за водою... иль в пляске
Перед домашним порогом подруг побеждала искусством,
Звонким ребяческим смехом родительский слух утешая...
Только в последнее время приметно она изменилась:
Игры наскучили ей, и взор отуманился думой,
Из дома стала она уходить до зари, возвращаясь
Вечером темным, и ночи без сна проводила. При свете
Поздней лампы я видела раз, как она, на коленях,
Тихо, усердно и долго молилась... кому?., неизвестно!..
Созвали мы стариков и родных для совета; решили...

совершенно не мог бы быть передан в этом размере:

Играй, Адель,
Не знай печали!
Хариты, Лель,
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.
Твоя весна
Тиха, ясна
Для наслажденья
Ты рождена, и т. д.,

ни в этом:

Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые;
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальцо,
В небо чистое смотрит, улыбается, и т. д.
(из «Песни про купца Калашникова»)

ни, наконец, в этом:

Дар огромный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана,

Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

ни, еще менее, в монотонно-страстном размере, в котором выполнен сюжет «Мцыри». Напротив, в размере стихотворения «Это случилось в последние годы могучею Рима» совершенно не мог бы быть выполнен этот рассказ о себе маленького «Мцыри»:

Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почувял он, и вой
Протяжный, жалобный, как стон,
Раздался вдруг... и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил...
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек...
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!
Ко мне он кинулся на грудь,
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружие... Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей

Забыл я — и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык...
Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз...
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно — и потом
Закрылись тихо вечным сном...

Если этот отрывок, уже достаточно обширный, чтобы судить о его содержании и колорите, мы сравним с столь же обширным отрывком, приведенным выше, из жизни первых христиан при Тиверии, мы увидим, что, сохраняя каждый свое содержание, *они не могли бы обменяться формой*. В рассказе умирающего Мцыри эти сильные кадансы голоса в конце каждого стиха, отсутствие какого-либо разнообразия, *игры* в рифмах, равносложность всех стихов и, наконец, двусложность всякой стопы — сообщают угрюмую, как бы бесцветную сосредоточенность его речи, исполненной энергии и сжатой тоски; короткие как бы обрывающиеся строки, монотонно-однообразные на протяжении длинного рассказа, звучат в нашем ухе как голос задыхающегося человека, которому осталось жить несколько часов. Вся форма, лишенная какой-либо украшенности, усиливает впечатление рассказа, красота коего и сосредоточена в его силе; т. е. она возводит особенную и исключительную, ему присущую, красоту — к высшему совершенству. В первом отрывке, в рассказе старухи об умершей своей дочери — эта сила отсутствует; она отсутствует не только сообразно возрасту говорящего лица, но и, главным образом, вследствие недоумения, им владеющего: старуха не знает, почему умерла ее дочь, и еще надеется на ее воскресенье. Этот недостаток энергии прекрасно передан в разреженных, и потому ослабленных ударениях дактилического стиха; ибо в этом месте:

Ты *хочешь знать*, что *видел я*

ударение на отмеченных гласных *о, а, и, я* сосредоточеннее падает, нежели в стихе:

Это случилось в последние годы могучего Рима,

где ударение с гласных *э, и, е, о, у, и* — как бы разливается несколько на каждые следующие два слога; напр. в слоге

Ты *хо...*

первый слог совершенно скраден, он как бы проглатывается при чтении, точнее — поглощен силою второго слога; напротив в слоге:

Это *слу...*

слоги *то* и *слу* совершенно ясны в произнесении, ибо часть ударения с звука *э* перелилось на них. Далее, растерянный, недоумевающий, горестный рассказ Это случилось женщины о случившемся был бы испорчен в своей непосредственности всяким вниманием к форме: и мы имеем перед собою почти прозу, которая течет мерно лишь потому, что ударения как бы случайно, но без всякой преднамеренности говорящего лица, упадают после каждых двух слогов на третий:

Только в последнее время приметно она изменилась:
Игры наскучили ей, и взор отуманился думой,
Из дома стала она уходить до зари, возвращаясь
Вечером темным, и ночи без сна проводила.

Это нельзя переиначить, и переложение в совершенную прозу вводит здесь уже неправильность самого прозаического языка, ложное размещение слов, но и при всем том некоторая ритмичность языка сохраняется, как, напр., в этих строках допустим вариантах первой строки:

Приме / тно *толь* // ко в после / днее вре / мя она / изменилась

или:

Она изменилась примерно // только в последнее время,

так что та форма стиха, которая взята поэтом, представляется не предпочтением стиха прозе, но выбором из нескольких, только и возможных стихотворных размеров — лучшего.

Но если мы ясно чувствуем, что некоторая определенная форма стиха лучше отвечает данному содержанию (сюжету), чем другая определенная же или чем безразлично всякая, что мы не можем не вывести отсюда, что эти бессловные, ничего, по-видимому, не выра-

жающие размеры:

о́о|о́о|о́о|о́о
о́о|о́о|о́о|о́о

и далее:

о́о|о́о|о́о|о́о|о́о
о́о|о́о|о́о|о́о|о́о

ПОТОМ ЭТОТ:

о́оо|о́оо|о́оо|о́оо|о́оо|о́о
о́оо|о́оо|о́оо|о́оо|о́оо|о́о

ЭТОТ:

о́о|о́о
о́о|о́оо
о́о|о́о
о́о|о́оо

ЭТОТ:

о́о|о́оо||о́о|о́оо

и, наконец, следующий:

о́о|о́о|о́о|о́о
о́о|о́о|о́о|о́о

только при поверхностном взгляде кажутся чистою, пустою от всякого содержания, формою. В действительности каждая из этих форм есть ритм определенного настроения, и вовсе не каждое движение человеческого сердца может быть выражено безразлично которым размером, но всякий размер соответствует одному или немногим, между собою однородным, движениям нашей души. В силу этого, раз у поэта есть известное настроение души и творческая фантазия его уже рисует образы, сцены, истории, этому настроению соответствующие, его *разрабатывающие* — метр для стихотворной формы не может им быть избран по произволу всякий, но есть 2–3 размера, для этого удобные; и, собственно, есть даже только *один* размер, в котором эти сюжеты могут быть рассказаны и это настроение выражено без *искажения*. В иных размерах, при ином ритме стиха, чувство, которое он хотел бы передать в рассказе, которое он испытывает сам и под влиянием его создал этот размер — *осложнится* еще другим чувством, о котором он вовсе ни-

чего не думал, окрасится настроением, совершенно чуждым его душе и *идущим от размера, которым он неудачно воспользовался*. Так сюжету, изложенному в «Демоне», не очень соответствует этот ритм, в котором он изложен еще юношею-Лермонтовым:

оó|оó|оó|оó
оó|оó|оó|оó

и гораздо более отвечал бы этот:

оó|оó|оó|оó|оó
оó|оó|оó|оó|оó

в котором выполнена «Сказка для детей» (см. отрывок выше), между прочим потому, что легкая и *размышляющая* ирония, столь необходимо входящая в понятие демона, совершенно не передаваема в первом ритме, удобном только для выражения порывов. От этого демон первого стихотворения все порывается, и, в сущности, постоянно верит; или если и негодует или ненавидит, то с тою определенностью и положительностью, почти — счастьем, как это мог делать только 24-летний поручик. Он если еще и не внушает собою, то допускает на себя пародию; и вовсе не допускает ее демон второго стихотворения.

II

Перейдем к прозе. Языком этого повествования из Котошихина:

«Царь с патриархом советовал, и со властями и с бояры и с думными людьми говорил, чтоб ему сочетатися законным браком; и патриарх и власти на такое доброе дело к сочетанию законные любви благословили, а бояре и думные люди приговорили. И сведав царь у некоторого своего ближнего человека дочь, девицу добру, ростом и красотою и разума исполнену, велел взяти к себе на двор, и отдати в бережение к сестрам своим царевнам, и честь над нею велел держати яко и над сестрами своими царевнами, доколе сбудется веселие и радость. И искони в Российской земле лукавый дьявол всеял плевелы свои, аще человек хотя мало придет в славу и честь и в богатство, возненавидети не могут. У некоторых бояр и ближних людей дочери были, а царю об них к женитьбе ни об одной мысль не пришла: и тех девиц матери и сестры, которые жили у

царевен, завидуя о том, умыслили учинить над тою обранною царевною, чтоб извести, для того — надеялися, что по нейвозмет царь дочь за себя которого иного великого боярина или ближнего человека: и скоро то и сотворили, упоиша ее отравами. Царь же о том вельми печален был, и много дней лишен был яди; и потом не мыслил ни о каких высокородных девицах, понеже познал о том, что то учинилося по ненависти и зависти. И после того времени случися ему быти в церкви, где короновал, и узре некоторого московского дворянина Ильи Милославского две дочери в церкви стоят на молитве, послал по некоторым девиц к себе на двор, велел им того дворянина един умнейшую дочь взятии к себе в Верх¹; а как пение совершилось и в то время царь пришед в свои хоромы, тое девицы смотрел и возлюбил, и нарек царевною, и в соблюдение предаде ее сестрам своим, и возложиша на нее царское одеяние, и поставил к ней для оберегания жен верных и богобоязливых, дондеже приспеет час женитьбы» (I, 6).

Языком этой исторической эпохи вовсе не может быть передан следующая сцена:

«Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; наконец, графиня осталась в спальнй кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна.

Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессоницею. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма.

Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял

¹ Собственные покои царя.

незнакомый мужчина.

— Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь, — сказал он внятным и тихим голосом. — Я не имею намерения вредить вам я пришел умолять вас об одной милости.

Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Германн вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же. Старуха молчала по-прежнему.

— Вы можете, — продолжал Германн, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду...

Германн остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

— Это была шутка, — сказала она наконец, — клянусь вам! это была шутка!

— Этим нечего шутить, — возразил сердито Германн. — Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыгаться.

Графиня видимо смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.

— Можете ли вы, — продолжал Германн, — назначить мне эти три верные карты?

Графиня молчала; Германн продолжал:

— Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того, они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!..

Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германн стал на колени.

[— Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, — всем, чту ни есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе! откройте мне вашу тайну!] Что вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором... Подумайте: вы стары; жить вам уж недолго, — я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших

руках; [что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благо-
словят вашу память и будут ее чтить, как святыню...]

Старуха не отвечала ни слова.

Германн встал.

— Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы, — так я ж
заставлю тебя отвечать...

С этим словом он вынул из кармана пистолет.

При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное
чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы засло-
няясь от выстрела... Потом покатила навзничь... и осталась
недвижима.

— Перестаньте ребячиться, — сказал Германн, взяв ее руку.

— Спрашиваю в последний раз: хотите ли назначить мне ваши
три карты? да или нет?

Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла
(«Пиковая дама», III).

Мы преднамеренно привели эту длинную выдержку, чтобы ум
читателя вошел и почувствовал с достаточною полнотою тот особенный
аромат эпохи, возрастов говорящих лиц, даже самой обстановки, их
окружающей, который влит в эту сцену Пушкиным. Если мы обратимся
к языку Котошихина, мы почувствуем, что эта сцена могла бы быть
передана на нем лишь в фактической своей стороне: что некоторый
муж, именем Германн, пылая желанием разбогатеть через счастливый
выигрыш в карты и узнав случайно, что одна знатная и весьма преста-
релая женщина владеет тайною отгадывать в банке три карты подряд,
прокрался ночью в ее спальню и сперва просил учтиво, потом же стал
требовать дерзко открыть ему эту тайну. На что она, долго помолчав, а
наконец увидя его, пришедшего в ярость и вынудившего оружие, грозя ее
убить, — от страха и престарелых лет испустила дух, не удовлетворив
его любопытства. И даже если б мы попытались не рассказать эту сцену
языком Котошихина, но *перевести* ее на этот язык — что уже,
по-видимому, совершенно возможно — мы увидели бы, что она непе-
реводима на него с сохранением *личного, частного, особенного*, что
есть в ней; и, особенно, легко переводится только в двух, на первый
взгляд патетических местах (мы отметили их скобкам): но, на самом
деле, это — единственно холодные места в сцене, где Германн прибе-
гает к общей реторике и ссылается на *общие* мотивы, *припоминая* их в
нужде и ничего индивидуально при их произнесении не чувствуя. Лицо
еще не пробудилось в эпоху Котошихина: там были царь, подданный,
боярин, простец, муж, жена, с едва заметными, вовсе не существен-

ными и не характерными личными изменениями; были отношения гражданские, семейные, вовсе не было никаких «случаев», и случай, воодушевивший Пушкина на рассказ, в котором все было исключительно, в котором не было общего, а только частное, где все в высшей степени мимолетно и вместе характерно — не воссоздаваем в структуре языка, за два века назад существовавшего у того же народа, даже непереводимы на этот язык. И не только сцена, т. е. некоторое событие, рисуемое отношения между людьми, не воссоздаема в формах этого языка, а даже и бездушная обстановка, как, напр., следующее описание спальни графини:

«Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, *стоячи в печальной симметрии около стен*, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже m-me Lebun. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою; другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. *По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Leroy, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьевым шаром и Месмеровым магнетизмом*» (ibid.).

Здесь курсивом мы отметили места, совершенно непередаваемые на старом языке с тем оттенком иронии, осуждения или сожаления, который брошен автором на предметы его заботливого описания. Котошихин, на языке своего времени, мог бы лишь *назвать* все эти предметы, *исчислить* их; или, если и — осудить, то все «полностью», а не в «раздробь»: он не заметил бы, а заметив — не сумел бы выразить, чем каждая вещь индивидуально смешна, неуместна, бесполезна.

III

Тот spiritus crescens, который животворит каждую форму, делает ее нам близкою, родною, который далекое и чуждое переливает в нас и нашу грубую плоть и кость претворяет по закону этого чуждого, что мы восприняли — во всех приведенных примерах перевода не удерживается и пропадает. Лица теряют свою индивидуальность; отношения их становятся механическими; самая обстановка делается простым реестром

вещей, и в ней мы не узнаем более хозяина. Жизни нет более — есть восковая глыба, которая пытается подражать ей и тем более раздражает нас, чем менее это умеет. Если бы в приведенных примерах прозы мы захотели приписать это недостатку *слов* в языке старом, на котором поэтому только и не воссоздаем отрывок из литературы новейшей, то вот *оригинал* и *переложение*, не только из одной эпохи взятые, но и выполненные одним и тем же лицом. Речь в этом отрывке идет о противоположности древнего и нового мира, о напрасности усилий новых народов воссоздать у себя красоту античного республиканского строя, что их приводит к явлениям таким бессмысленным и отвратительным, как недавний Панамский процесс во Франции. Автор прибегает к сравнениям, уподобляя человека новых времен евангельскому Лазарю, который, забыв истинную природу свою, пытается возвратиться к языческим формам быта и деятельности:

«Но вот, пренебрегая всем, новые народы хотят набросить новый смысл на тысячи уже совершившихся фактов; поздний разум, блеклый лепет своего языка они пытаются противопоставить явлениям, которые так памятно, так неувыдаемо сияют в их истории. Лазарь почувствовал себя наконец, зажившим; ему жестка прежняя солома, скучен бедный кров, его так долго защищавший от сырости и от палящих лучей солнца. Он приподнимается и чувствует, что ноги его держат; он пробует голос и слышит, что он если и сипит. То, однако, громко; тщательно затирает он рубцы заживших ран и насыпает на остатки своих волос; и слышит, он еще надеется явить миру прекрасное зрелище; он выходит себе колесниц, заготовление венков. Кони готовы, — старые древние кони, на которых когда-то ристали Алкивиад, Кимон; они те же, в природе своей нисколько не изменились...

Но как изменилось все, кроме этих могучих коней; кроме этих могучих коней; как именно они в неувыдаемой красоте своей обнаруживают странную перемену, происшедшую в мире с тех пор, как они последний раз были отведены на покой... Вот Лазарь, тщательно запрятывая мотающие лохмотья своих повязок, заносит ногу и берет возжи... он унесется в безграничную даль, он никогда не увидит этого отвратительного сарая, где он проводил свои дни. Сияние огней, веселые пиршества, новые мудрые беседы в рощах Лицея и Академии его ожидают...

Минута — и нет коней; или это призрак был, или кони никогда не выходили из места своего вечного упокоения; лежит

Лазарь, не раздаются его песни, лежит так близко от места, где поднял изношенную свою туфлю на колесницу. Раны его вскрылись, пудра слетела... о, как отвратителен теперь его вид; как отвратительны его жалобы, мешающиеся с ругательствами. Бедный человек: кто так ненавидел тебя, кто дал тебе этот совет? и как мог ты величайшее сострадание, каким был окружен, неизреченное милосердие, о тебе поработившееся, променять на указания, какие подсказаны были тебе уж конечно умным, но и так злобно, так высокомерно издевающимся над тобой духом твоей истории...» (из «Русского Обозрения», февраль, 1893 г.).

Попробуем переложить последний абзац:

«Через минуту уже не было коней; верно — это был призрак, а, может быть, древние кони и не выходили вовсе из места своего исторического упокоения; Лазарь валяется на земле, — очень близко к тому месту, где поднял ногу в старых сапогах на колесницу, и ничего теперь не поет. Опять его раны заболели, а косметики слетели с лица. Он плачет и ругается, являя весьма отвратительное зрелище. Так-то, бедняга-человек: посмеялся над тобой бес, а ты послушал его совета. Было тебе хорошо — нет, подавай лучше; была над тобой милость Божия — дай, послушаюсь демонского искушения; ну, вот и валяйся теперь, и ругайся...».

Нервная, порывистая речь оригинала слов, при сохранении в переложении всех сравнений, всех мыслей, почти всех тех же слов неуловимо перешла в вялую при ином размещении этих слов; с тем вместе исчезло из нее то, что сообщало ей этот порыв: в переложении вовсе нет скорби, смешанной с сарказмом, есть только тупая ослабленность на несчастье павшего и больно ушибшегося человека; нет и того, наконец, что вызвало порыв: любви к павшему, т. е. нет достойного человека, которого мы любим невольно во всяком его положении. Весь этот комплекс живых предметов и жизненных между ними отношений исчез; остался скелет понятий, куча слов, ничего нам не объясняющих, ни от чего не удерживающих, никуда нас не влекущих.

Если мы несколько раз и очень внимательно перечитаем этот отрывок (т. е. оригинал переложения), мы заметим, что в нем есть несколько мест, где как бы происходит нажим речи на нашу мысль и, невольно ему подчиняясь. Мы произносим некоторые слова усиленнее и протяжнее, чем остальные; эти слова следующие:

Минута, призрак, никогда, вечного, лежит, песни, близко, изношенную, раны, вскрылись, пудра, слетела, отвратителен, отвратительны, бедный, ненавидел, как, величайшее, окружен, неизреченное, заботившееся, променять, указания, подсказаны, конечно, злобно и высокомерно.

Т. е. это суть слова, выражающие коренные понятия данной речи — не логические только, но исторические, этические, философские и религиозные. Все ее остальные слова, не отмеченные здесь, только помогают сцепить между собою эти понятия, их роль — служебная; и, соответственно этому, они размещены около главных так, что текут совершенно не останавливая на себе мысли читателя, не задерживая его внимания и давая ему только возможность понять смысл тех главных слов — повторяем, не один логический, но философский и исторический:

«Минута» — это указывает на быстротечность попытки людей, попытавшихся на наших глазах возобновить республиканский строй.

«Призрак» — на то, что и эта кратковременная попытка была неудачна, не ярка, не значуща в себе.

«Никогда» — утверждает ей усилием невоскресимость той древней жизни; «вечного» — в утвердительной форме повторяет эту главную мысль отрывка и целой статьи.

«Лежит» — указывает на падение нового человека.

«Песни» — указывает на минуты ложного увлечения, им овладевшего, на его «республиканские» радости, оказавшиеся так недолговечными.

«Близко» — еще раз подтверждает скорость его падения.

«Изношенную» — выражает презрение к ее виду.

И т. д. Наконец, четыре слова: *минута, нежный, раны, бедный* — произносятся: последние три после значительной паузы голоса (после точки или точек с запятой) и первое поставлено в начале речи; с тем вместе эти слова образуют как бы четыре темы, которые только развиваются в отрывке, и они не только поставлены впереди развивающих их понятий, но и усиленно привлекают к себе внимание читателя. Отмечая их курсивом, ударениями — остальные перечисленные выше слова, и остановки голоса — малою одною вертикальною чертою и большую двумя вертикальными чертами, мы получим ритмическую речь:

«Минута — и нет коней; / или это *призрак* был, или кони *никогда* не выходили из места своего *вечного* упокоения; // *лежит* Лазарь, не раздаются его песни, *лежит* так *близко* от

места, где поднял изношенную свою туфлю на колесницу. // *Раны* его вскрылись, *пудра слетела...* /о, как отвратителен теперь его вид; как отвратительны жалобы, мешающиеся с ругательствами. // *Бедный* человек: кто так ненавидел тебя, кто дал тебе этот совет; / и *как* мог ты величайшее сострадание, каким был окружён / неизреченное милосердие, о тебе заботившееся, / променять на указания, / какие подсказаны были тебе уж, конечно, умным, / но и так злобно, так высокомерно издевающимся над тобой духом твоей истории».

Этот ритм речи и сообщает словам, по-видимому, лишь грамматически между собою связанным и дающим в своих понятиях предмет для размышления — как бы биение живого пульса, в силу чего они становятся не только пищею для ума, но и возбуждают сердце, настраивают воображение и вообще действуют на волевою и нравственную сторону души. Мы видели выше, что от простой перемены ритма, без перемены мыслей и почти слов — выражение скорби заменилось усмешкою, порывистый сарказм перешел в тупую и равнодушную ослабленность на предмет речи. Разбирая разных писателей, мы можем заметить у них, по крайней мере, *темп* речи: при совершенной понятности, при отсутствии какой-либо затрудненности в чтении, строки одного быстрее поглощаются нами, и другого — медленнее. Так, вот три отрывка, написанные одинаково с одушевлением, о предметах равно интересных, писателями равно сильными в обдуманности языка и, наконец, приблизительно одинакового строя мыслей и суждений, лишь с некоторыми *вариантами* в этом строе. Мы увидим, однако, что *темп* их речи совершенно различен в зависимости от очень малых *индивидуальных* различий писавших (первый отрывок кроме *темпа*, т. е. *скорости, устремленности* речи, имеет еще и *ритм*, т. е. *периодичность* кадансов голоса):

«В цветущие времена пластических искусств, всякий именитый художник творил, / окруженный толпою им *избранных*, его избравших учеников. // Эти *юноши* составляли его семью, / были свидетелями и участниками его трудов, постоянными его собеседниками. // Под глазами мастера, при драгоценной его помощи и словом и делом, / возникали их первые творения. / Кроме наставлений учителя, они пользовались беседою зрелых людей мысли и слова, / всегда группирующихся вокруг выдающихся художественных деятелей. / Этим путем укреплялось, расширялось умственное развитие, / столь необходимое

художнику, столь трудно достижимое для него путем школьного учения, / ибо времени для него мало за обязательным упражнением в художественном делании. // Ученики великого мастера знакомились в его мастерской с выдающимися представителями общества духовного и светского, / с корифеями иных областей творчества, поэтами, музыкантами. Молодые их годы озарялись отблеском той полной художественной жизни, / коею жил их учитель. // Зарождающиеся таланты встречали тонких ценителей, могучих покровителей» (С. Рачинский. Сельская школа. М., 1892 г., стр. 172).

Ритм, безотчетно выдерживаемый здесь автором, особенно важен тем, что мы без труда узнаем его присутствие по некоторой принужденности в расстановке слов, которые были бы размещены иначе, если бы не были кем гармонизованы. Так первые строки у Острогорского, Беккетова, всякого педагога, чуждого тайн речи, читались бы так: «Всякий именитый художник, в Цветущие времена пластических искусств, творил, окруженный толпою им избранных и его избравших учеников», или еще: «учеников, избранных им и так же его самого избравших» и т. д.

Темп речи здесь равномерно ускорен; но он не возбужден, и нет в ней ни тематических слов, ни усиления в некоторых местах сравнительно с другими. Картина проводится перед глазами читателя, он ее может запомнить, может ей свободно последовать в практической деятельности, если понимает ее смысл. Но автор не бросится за ним, не станет его укорять, если он ее не понял, ни — его любить, если он ее понял. Он — художник, он — созерцатель; его господствующая способность есть *вкус*.

«С именем Пушкина неразрывно связано какое-то очарование. Есть такие чарующие имена в истории человечества, имена, о которых можно повторить выражение *Песни Песней*:

Скажут имя твое — пролитой аромат!

Таково было у древних греков имя Платона, у римлян — Вергилия; таковы у итальянцев имена Рафаэля, Петрарки, у немцев Моцарта, Шиллера... Эти имена составляют синонимы света и красоты, высшей прелести, до какой могут достигать человеческие чувства и мысли и их проявление.

Судить о таких явлениях в истории человечества, об этих

перлах на поприще духовной жизни людей, есть дело представляющее свои особые трудности. Во-первых, нужно быть способным к очарованию; непременно нужно испытать на самом себе обаяние того чародея, о котором хотим рассуждать. Восторг понимается только восторгом, и кто его никогда не чувствовал в ясной степени, тот пусть лучше о нем не говорит.

Во-вторых, нужно совладать с своим очарованием, нужно настолько выбиться из-под его власти, чтобы иметь возможность обратить его в наслаждение сознательное и отчетливое... Нужно обратить его в определенное и отчетливое внимание к тому, что у нас перед глазами» (г. Н. Страхов. Заметки о Пушкине. СПб., 1888, стр. I).

Здесь темп речи гораздо более замедлен, нежели в предыдущем отрывке, хотя она более ярка, выражена с большим одушевлением, чем речь того отрывка. Ритма, правильно чередующихся кадансов голоса — вовсе нет. Начиная со слов «непрерывно нужно испытать» — наступает какая-то уторопленность, слова как бы насакаивают друг на друга, гонимые мыслью, которая неожиданно прервала в авторе созерцание любимых образов и имен. Он — мыслитель, он — аналитик; может быть, но не непременно — он публицист. Но он любит оригинальное во взглядах и найдя таковое — его усиленно защищает, противное — энергично оспаривает. Он стоит ближе к своему читателю, чем предыдущий писатель, который первое предложение написал бы:

«С именем Пушкина неразрывно связано *некоторое* очарование», т. е. не употребил бы это домашнее: «какое-то», как и далее: «есть такие», формы — как бы вводящие читателя в интимный мир писателя, зовущие его разделить его восторг, усвоить его понимание. Он — учитель, если не по профессии, то по духу.

«Я сравниваю не Аксакова с Толстым; это совсем нейдет. Я сравниваю только «Семейную хронику» и «Анну Каренину» с «Войной и миром». Произведение с произведением, и то с одной только стороны. Я сравниваю *веяние с невеянием*¹. Есть такие произведения — *удивительные в своем одиночестве*. Гениальные, классические, образцовые сочинения *негениальных* людей; эти одинокие сочинения своим совершенством и художественною прелестью не только равняются с творениями перворазрядных художников, но иногда и превосходят их. Та-

¹ Курсив везде принадлежит автору.

ково у нас «Горе от ума». Грибоедов сам не только не гениален, но и не особенно даже талантлив во всем другом, и прежде, и после этой комедии написанном. Но «Горе от ума» гениально. Самая несценичность его, по моему мнению, есть красота, не порок. (Сценичность, как хотите, все-таки есть пошлость; сценичность все-таки не что иное, как подчинение ума и высших чувств условиям акустическим, оптическим, нервности зрителей и т. д.). «Горе от ума» истинно *неподражаемо*, и, в этом смысле, оно гораздо выше более всякому доступного и более сценического «Ревизора». В «Горе от ума» есть даже *теплота*, есть поэзия; сквозь укоризмы и досаду Чацкого (или самого автора) просвечивает все-таки какой-то луч любви к этой укоряемой, но родной Москве... Какая же любовь, какая поэзия в *сером* «Ревизоре»? Никакой. В «Разъезде» после «Ревизора» ее гораздо больше. И в других литературах встречаются такие *одинокие* и *классические* произведения, гениальные творения негениальных авторов. Во французской литературе есть две такие вещи, как бы сорвавшиеся с пера авторов в счастливую и *единственную* минуту полного внутреннего озарения. Это — «Paul et Virginie» Бернардена-де-Сен-Пьера и «Manon Lescaut» аббата Прево. В английской словесности к этому же разряду надо отнести «Векфильдского священника» и, пожалуй, «Дженни Эйр». Если бы Вертера написал не Гёте, а кто-нибудь другой, то и его можно бы сюда причислить.

У нас, кроме «Горе от ума» и «Семейной хроники», я ничего сюда подходящего не могу припомнить. Разве великолепное «Сказание инок Парфения» о святых местах, столь справедливо впервые оцененное Аполлоном Григорьевым. «Семейная хроника» — вот дивный образец того соответственно духу времени веяния, о котором идет дело. «Мысль обрела язык простой и голос страсти благородной!» Степень углубления «в душу» действующих лиц, выбор выражений, склад и течение речи русской, общий характер мировоззрения — все дышит изображаемой эпохой. Если при этом вспомнить еще о другом, тоже правдивом, хотя и несравненно слабейшем сочинении *того же* Аксакова, о «Детских годах Багрова-внука», то естественность и даже до некоторой степени физиологическая неизбежность этого соответственного эпохе «общего дыхания» станет еще понятнее. С. Т. Аксаков *видел* сам всех действующих в «Хронике» лиц; он жил с ними, рос под их влиянием, у них учился говорить и судить, его внутренний мир был полон

образами, речами, тоном, даже *физическими движениями* этих, давно ушедших в вечность, людей. Неизгладимый запас этих впечатлений хранился в «Элизиуме» его доброй и любящей души до той минуты, когда ему вздумалось поделиться с нами своим богатством и воплотить навеки так укоризненно и так прекрасно эти дорогие для его сердца тени прошлого.

Конечно, во всем есть известная мера (или, точнее сказать, есть мера вовсе не известная, но легко *ощутимая*); есть мера удаления психического и мера близости, благоприятные для полноты результата. Будь Сергей Тимофеевич человек *только того времени и той среды*, будь он не сын Тимофея Степановича, а младший брат его, положим, не доживший ни до Жуковского, ни до Пушкина и Гоголя, ни до Хомякова и Белинского, не переживи он даже многих (почти всех) из этих переносных писателей, — он бы не смог написать «Семейную хронику» так, как он написал ее; он написал бы ее хуже, *бесцветнее*. Или, вернее — он совсем бы не стал *тогда* писать об этом, не нашел бы все это достаточно *интересным*.

Разумеется, влияние не только знаменитых ровесников, но и младших талантов и даже собственных сыновей, столь счастливо одаренных и обширно образованных, сделало свое дело. Все эти влияния помогли прекрасному старцу лишь ярче осветить то, что жило в нем так глубоко, так неизменно, полусознательно и долго; но *изломать* его по-своему не мог никто, — даже и Гоголь, которого он, слышно, так чтит. Он был и слишком стар, *слишком светел* для грубого и печального отрицания.

Во «благовремени» он принес свои благоухающие, здоровые плоды и скончался. К нему идет стих Тютчева:

Он просиял и угас¹.

(К. Леонтьев. Анализ, стиль и веяние;
по поводу романов гр. Л. Толстого).

Это язык писателя более страстного, чем оба предыдущие; страстного в мысли и, может быть, жесткого, даже жестокого в сердце; во

¹ Мы привели в целом эту длинную характеристику С. Т. Аксакова и его «Семейной хроники», желая обратить на нее внимание курсов истории русской литературы и исторических хрестоматий: так полна эта характеристика мыслью; так правильны в ней объяснения своего предмета.

всяком случае, «упругого как сталь[»] во всей своей природе; ни в каком случае в этой природе не размягченного, не «рыхлого[»], не поддающегося перед силой, не подкупаемого лаской. Темп приведенной речи его еще более растянут, нежели темп второго отрывка; мы как бы слышим перед собою говорящего человека, который развивает перед нами занимающую его мысль, совершенно не заботясь об ее форме и думая только о том, чтобы быть ясным и убедительным. Приведенная страница — совершенно живая речь, без всякой перемены, какую могла бы на нее наложить литературная запись. Никто, ни один писатель в целой всемирной литературе не принял бы этих звуковых обрывков за цельные предложения:

«Произведение с произведением, и только с одной стороны». «Гениальные, классические, образцовые сочинения не гениальных людей...» «Никакой»

и не поставил бы их между точками, как они стоят у нашего писателя. От этого речь его имеет какую-то угловатость и вместе остроту, порывистость. При всем беспорядке — в ней есть своеобразная прелесть: прелесть совершенно *живого*. Кажется — автор не аналитик, не методист вообще; его воззрения более похожи на отгадывания, нежели на правильно открытые и доказанные мысли, и эти отгадывания являются плодом скорее художественно-цельного, но исключительно наружного оглядывания вещей, причем взор уловляет в этих вещах существенные моменты, их одни комбинирует, без остановки над подробностями, без ухода в глубь предмета, и счастливейшую из этих комбинаций принимает за несомненный довод ума.

IV

И у всякого писателя, сколько-нибудь определенного в своем настроении, мы отметим постоянство и определенность в темпе речи и также в ее построении, в ее складе, в фактуре слов, ее слагающих. Нет двух писателей, очень различных, которые имели бы совершенно одинаковый синтаксис: связь предложений и в предложениях — размещение слов видоизменяются, следуя индивидуальности каждого пишущего. Мы не можем эти различия прозаической речи выразить так отчетливо, как выражаем различие стихотворных размеров с помощью деления на стопы и цезур; для нее не изобретено еще своеобразных нотных знаков; но эти различия, и именно различия ритмические — в ней есть, и они имеют то же значение, тот же смысл относительно души

человеческой, как и различия рифмованной речи, анализ которой мы выше сделали. Есть ритм, присущий душе человеческой, в котором она бьется ранее, нежели начинает что-нибудь определенное думать, что-нибудь определенное чувствовать, того или другого человека; самые предметы желания, способы чувствования, объекты размышления или пробуждаются в ней под действием этого ритма, или, встречаемые ею во внешнем мире — одни прививаются к ней, как бы прилипают к ней, другие отпадают от нее, ей не нужные, для нее не понятные. Байрон, в условиях Гольдсмита — все-таки не написал бы «Векфильдского священника», ни Гольдсмит, в условиях Байрона, не написал бы «Корсара», «Каина», «Дон Жуана»; хотя всякая душа ищет условий, благоприятных для питания ее особенного, в ней — личного, ищет звуков, созвучных ее ритму и, большею частью, их находит. Самое так называемое «сродство душ», это тяготение людей друг к другу, основывается не на характерах их, внешним образом выраженных, не на одинаковости знаний, образования, привычек, но на соответствии или несоответствии их душевных ритмов, на гармонизуемости этих ритмов — при которой люди сближаются, или, напротив, на их дисгармонии, какофонии — при которой люди разбегаются, враждуют, или, по крайней мере, ничего друг к другу не чувствуют.

В поэзии и вообще всяком словесном творчестве этот ритм, мы сказали, предшествует изобретению определенных сюжетов, избранию тем и т. д. стиль речи, как звуковое выражение того внутреннего ритма, является поэтому в писателе раньше, чем он что-нибудь написал; даже более: он становится писателем только потому, что в нем уже есть тот ритм, что у него уже есть стиль, который ждет только объектов (сюжетов) и, едва найдя их — начинает звучать о них совершенно определенно, *не* возникая, *не* развиваясь, не совершенствуясь (или очень мало) и падая с падением в писателе всякого «таланта», с умиранием в нем того ритма, который и побудил его когда-то писать и искать соответствующих сюжетов. Поэтому язык писателя и есть именно дар; интимнейшая, глубочайшая сторона этого дара. Почувствовать этот язык во всей его индивидуальности и особливости — значит, далеко не дочитывая писателя до конца, уже совершенно понять его, понять его, понять и в том, что он написал, и даже в том, что только мог бы написать. Зная этот язык, мы без колебания знаем, каких сюжетов никогда бы не коснулся автор, какого способа чувствований он не навязал бы лицам своих драм или романов, как прочитав эти стихи:

Но жарка свеча
Поселянина

Пред иконою
Божьей Матери, —
(Кольцов)

Украшают тебя добродетели,
До которым другим далеко
И беру небеса в свидетели
Уважаю тебя глубоко.
Не обидишь ты даром и гадины,
Ты помочь и злодею готов,
И червонцы твои не украдены
У сирот беззащитных и вдов.
(Некрасов)

или эти:

Красавица зорька
В небе загорелась,
Из большого леса
Солнышко выходит.
Весело на пашне;
Ну, тащися, сивка!
Я сам-друг с тобою
Слуга и господин.
Весело я лажу
Борону и соху,
Телегу готовлю,
Зерна насыпаю.

Весело гляжу я
На гумно, на скирды, молочу и вею...
(Он же)

конечно, знаем, и без всякого труда, без всякого колебания, что их автор никогда не изобрел бы этой «поэзии»:

Стану без милого жать,
Сноптики крепко вязать,
В сноптики слезы ронять!
Слезы мои не жемчужины,
Слезы горюшки-вдовы,

Что же вы Господу нужны,
Чем ему дороги вы
(Некрасов, изд. 1884, стр. 125).

Из поэмы «Мороз, Красный нос»
ни этой:

Ветер шумит, наметает сугробы
Месяца нет — хоть бы луг:
На небо глянешь — какие-то гробы,
Цепи да гири выходят из туч.
(Он же, ib., стр. 126)

ни, наконец, этого публицистического пафоса, обращенного к себе не повторил бы этих патетических строк, беспричинно к себе обращенных:

Зрелище бедствий народных
Невыносимо, мой друг.
Счастье умов благородных —
Видеть довольство вокруг.
(Он же, ib., стр. 185).

И мы предугадываем без труда, что если бы простую мысль, выраженную в первом из приведенных стихотворений, пришлось выразить прозаически и совершенно безыскусственно обоим поэтам, то первый из них только иначе разместил бы слова в своем стихотворении:

Но перед иконою Божьей Матери жарка свеча поселянина

Напротив, второй написал бы:

Но, купленная на трудовую копейку, жарка свеча поселянина перед образом Божьей Матери, и т. д.

V

Мы взяли двух поэтов с чрезвычайно определенным и притом не разнообразным настроением. Можно представить себе случай, что Кольцов при сохранении в нем всех типических особенностей душевного строя, имел бы в распоряжении своем только размеры; или, напротив, для Некрасова, с его настроением и мировоззрением, предлежали бы к

выбору и употреблению только ритмы кольцовской поэзии. После некоторой борьбы между настроением поэта и несоответствующей ему формой ему формой стихосложения, можно быть уверенным, подалось бы, наконец, то, что может податься: именно — что более ново, менее окрепло во времени и вообще видоизменимо: его *личный* дух поэта, его *настроение*. Его злоба (мы говорим о Некрасове) — смягчилась бы; его осуждение — потеряло бы остроту; чувство смеха исчезло бы и на его месте появилась печаль:

Ах, зачем меня
Силой выдали
За немилого
Мужа старого?

Небось весело
Теперь магушке
Утирать мои
Слезки горькие!

Небось весело
Глядеть батюшке
На житье-бытье
Горемычное!

Небось сердце в них
Разрывается,
Как приду одна
На великий день;

От дружка дары
Принесу с собой:
На лице — печаль,
На душе — тоску!

Поздно, родные,
Обвинять судьбу,
Ворожить, гадать,
Сулить радости!

.....
Не расти траве
После осени;

Не цвести цветам
Зимой по снегу!

Так, или приблизительно так он выразил бы раздражение на факт, здесь переданный, не имея никакой возможности написать эти строки:

Имел я дочь. В учителя влюбилась
И с ним бежать хотела сгоряча.
Я погрозил проклятьем ей: смирилась
И вышла за седого богача.
Их дом блестящ и полон был как чаша,
Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша
И через год в чахотке умерла, —
Сразив весь дом глубокою печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не делал в жизни зла.

(Некрасов. Нравственный человек).

Не имея для этого *тона* никакой соответствующей формы, никакого отвечающего ритма, он, в напрасных попытках выразить издевательство и презрение (см. второе стихотворение) подчинился бы духу ритмов, в его распоряжении находящихся, и издевательство перешло бы у него в скорбь, презрение заменилось бы родственным, но и более благородным негодованием (см. первое стихотворение). Подобная же метаморфоза души одинокой нашего народного поэта произошла бы, если бы он, напрасно ища для нее отвечающих форм, вынужден был в конце концов изливать ее в жестких и цинических размерах некрасовской поэзии.

Теперь мы совершенно близко подошли к теме, которая нас занимает.

VI

Мы взяли случай, когда язык — неизменим; когда ритм в нем — не изобретаем; когда писатель, будет ли то прозаик или поэт, с новым содержанием пришедших в мир — не имеет никакой возможности создавать для себя новых форм. Таков именно бывает в истории случай, когда ему предстоит почему-либо писать не на родном языке, но на чужом; наконец, это — случай, когда на другой язык переводится проза или поэзия какого-нибудь народа; и именно — когда она переводится на язык совершенно сформировавшийся, законченный в развитии

своим, ставший неподвижным. Таков именно и был факт усвоения христианства латинскому языку.

Прежде, однако, чем говорить об Евангелии, скажем несколько слов о том, что было к нему предуготовлением — о *Библии*; о степени ее переводимости на латинский язык:

Вот факт из Библии; при внимательном чтении, мы тотчас заметим, что одни части рассказа могут быть переданы по-римски как в точном содержании своем, так и в оттенках, в колорите, в одушевляющем рассказчика порыве; в других же частях при передаче колорит утрачивается и остается только голый факт:

«В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Нложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Вифлеем Иудейский и была там четыре месяца.

Муж ее встал и пошел за нею, *чтобы поговорить к сердцу ее* и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего.

Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил; *и удержал его тесть его, отец молодой женщины*. И пробыл он у него три дня; они ели и пили и ночевали там. В четвертый день встали они рано, и он встал, чтоб идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему: *подкрепи сердце твое куском хлеба*, и потом пойдете.

Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому: *останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое*. Человек тот встал, было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там.

На пятый день встал он поутру, чтоб идти. И сказал отец молодой женщины той: *подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день*. И ели оба они и пили. И встал тот человек, чтоб идти, сам он, наложница его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины: *вот, день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйста; вот, дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое; завтра пораньше встанете в путь ваш, и пойдешь в дом твой*. Но муж не согласился ночевать, встал и пошел».

Чисто семитическая нежность, которою запечатлен этот безымянный (лицо не названо, забыто: «один левит») рассказ, уже с великим трудом и, без сомнения, с большим ущербом для подлинника, поддается формам русского языка. Эти повторения одной мысли, это: «повеселите сердце мое» — совершенно непередаваемо в сжатой римской речи, с ее *резко очерченным* синтаксисом, с ее отсутствием слов и оборотов нежных, ласкающих, зовущих.

«И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим; с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему: зайдем в этот город Иевус и ночуем в нем. Господин его сказал ему: нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы или Рамы. И сказал слуге своему: дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве, или в Раме.

И пошли, и шли, и закатилось солнце подле Гивы Вениаминовой».

Это — строки, от которых как бы веет еще теперешним Дамаском, его начинающеюся пустыней; веет простотой первоначального неарийского быта.

«И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе; но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот, идет один старик с работы своей, с поля; он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве! Поднял глаза свои, он увидел прохожего на улице, и спросил: «куда идешь? и откуда ты пришел? Он сказал ему: «мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, откуда я. Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа: и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома и корм для ослов наших; также хлеб и вино для меня и *для рабы твоей и для сего слуги есть у рабов твоих*; ни в чем нет недостатка.

Старик сказал ему: будь спокоен: *весь недостаток твой на мне*, только не ночуй на улице. И ввел его в дом свой, и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили».

Отмеченные курсивом выражения содержат понятия, указывают на отношения чуждые совершенно и русской психике, русскому быту и истории (не говоря о римской); по нежности и чувству покорности, с которою они, однако, переданы, мы наблюдаем, что здесь язык наш поддался инородной психике, он сломился в своей естественной простоте и крепости — для восприятия идей, совершенно нашей крови чуждых. И, следуя языку своему, мы это место читая — научаемся новому, образуемся, воспитываемся; восходим к лучшему, чем на чту *естественно* способны.

«Тогда как они развеселили сердца свои, вот, жители города, люди развратные, окружили дом, стучались двери и говорили старику, хозяину дома: выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его. Хозяин дома вышел к ним и сказал: нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой; не делайте этого безумия; вот у меня дочь-девица, и у него — наложница, выведу я их, смирите их и делайте с ними, что вам угодно; а с человеком сим не делайте этого безумия.

Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они узнали ее, и ругались над нею всю ночь до утра. И отпустили ее при появлении зари.

И пришла женщина пред появлением зари, и увидела у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света.

Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой: и вот, наложница его лежит у дверей дома и руки ее на пороге.

Он сказал ей: вставай, пойдём. Но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел на свое место.

Пришедши в дом свой, взял нож и взяв наложницу свою, разрезал ее на двенадцать частей и послал во все колена Израилевы. Всякий, видевший это, говорил: не бывало и видано было подобного сему от дня истребления сынов Израилевых из земли Египетской до сего дня» (*Книга Судей Израилевых*, главы XIX–XX).

Приведенное место — до его заключительных строк и также выключая в начале удивительные слова хозяина дома — содержит в себе, без всякого сомнения, мертвую волну хамитических чувств, как бы заливаемую, отталкиваемую волнами чистого семитизма, и тем ярче среди их чувствуемую. Это есть вечная печаль Израиля — эта мрачная чувственность, которая была всеобуславливающим центром в психике хамитических племен, наложившим печать свою на их быт и проникавшим всю их религию. Мы почти не знаем разграничивающей черты между семитическими народами и всегда географически их окружавшими хамитическими племенами, кроме той главной, что чувственность, понимаемая хамитами как требуемая религиозным законом, у семитов понималась как религиозное преступление. Акт обрезания, символ завета Израиля с Богом, кажется, символизирует именно обрезание, от этой стороны нашей природы. Вся *Библия*, все судьбы Изра-

ильского народа, весь смысл священных книг, то прямой, то иносказательный, то выражающийся в точных повелениях (*Второзаконие*), то иллюстрирующий в фактах (исторические книги) имеет внутри себя этот главный мотив: возвести понимание избранным народом этого одного акта к совершенной чистоте и святости и не дать ему в действительной жизни осквернить его, исказить или хотя бы только отнестись к нему без внимания. По *Второзаконию*, кто от ушиба, болезни, раны потерял способность стать отцом — «не может войти в общество Господне» (XXIII, 1); итак, «общество Господне», по семитическому пониманию, есть то именно, которое сконцентрировано около этой способности как некоторого святого закона, поставлено около него как некоторая священная стража. Таким образом, то, что у хамитов понималось ужасно и извращенно, что позднее, у арийцев, вызовет к себе улыбку, шутку, издевательство, станет не называемым центром веселой комедии, сального рассказа, — у семитов окружено страхом, почтительностью, высотой религиозного внимания. Если мы вспомним, что с этим актом соединено самое бытие человеческое на земле, что его нарушаемость и в самом деле гораздо важнее всяких политических, умственных, художественных забот человека, мы не будем, смотря на все даже с арийской точки зрения, несколько удивлены степенью внимания к этому факту.

Как бы то ни было, приняв закон обрезания в сердце свое, еврейский народ в действительных актах своей истории часто отклонялся от его исполнения. В чудной истории Давида с Вирсавией и его покаянном псалме как бы синтетически отразился весь смысл Израильской истории. И она вся, с ее пророками, есть только покаянный псалом, слагаемый после ужаса разврата и крови, при Иезавели и Ахазе, почти всегда, почти всех колен Израилевых, включая по временам даже и «верного Иуду». Мы сказали, что нет почти физической, географически лингвистической черты, которая отграничила бы семитические племена от хамитических; только одна тонкая, чисто духовная черта нравственного закона разделяла их; и при общности всех других сторон природы, племя семитическое всегда почти переливалось за эту тонкую грань и сливалось с хамитами в формах их грубого чувственного культа. Всех тайн этого культа мы не знаем; нам известна лишь внешняя, отталкивающая его сторона, проявляемая в чертах непостижимой жестокости и разврата; но если, в этом культе, родите сквозь страдания, труд, муки; что есть *венец* усилия и вовсе не дар, с рождением приносимый человеком на землю. Тайна судеб Израиля на земле есть именно принесение в историю *святого*. И вся история их, и внешним образом приуроченная к акту обрезания, есть в сущности тайна обрезания ду-

ховного от греха, от той мути земного, страстного, «жестоковыйного», чем так запечатлена была религия, быт, история племен, их территориально окружавших (хамиты). Отсюда — «все колена пали, сохранился верным только Иуда», «и Иуда отпал вслед за Израилем — сохраняли верность только пророки», которых избивали; их избивали, и они все-таки восставали; в горниле испытаний, в горниле вечного гнева Божия мутные следы хамитизма более и более отделялись от чистой крови Сима; чувственность опадает; становится менее, становится обычна; черты кроткого, покорного, *чистого* все ярче и полнее выступают — доколе, по исполнении времен, сама Святость и Чистота, уготованная Богу, не ответила Возвестителю тайны воплощения:

Се раба Господня — буди мне по глаголу Твоему.

Мы продолжим начатый выше и прерванный рассказ, и приведем конец его, в котором открывается третья и новая черта, переплетающаяся в Библии с двумя, только что отмеченными нами:

«И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Вирсавии, и земля Галаадская пред Господом в Массифу¹. И спросили, как происходило это зло? Левит, муж убитой женщины, рассказал... И восстал весь народ, как один человек, и сказал: не пойдет никто в шатер свой и не возвратится никто в дом свой; пойдём на Гиву; и на все колено Вениаминово.

...И поразил Господь Вениамина пред израильтянами, и положили в тот день из сынов Вениамина двадцать пять тысяч сто человек, обнажающих меч... В то же время засада поспешила и устремилась к Гиве; и вступила в него и поразила весь город мечем... Вениамин оглянулся назад, и вот, дым от всего города восходит к небу; и оробел он, ибо увидел, что его постигла беда. И побежали сыны Вениаминовы от израильтян по дороге к пустыне; но сеча преследовала их. И выходившие из городов побивали их там.

Окружили Вениамина, и преследовали его до Менухи и поражали до самой восточной стороны Гивы. И пало из сынов Вениамина еще восемнадцать тысяч человек, людей сильных. Оставшиеся оборотились и побежали к пустыне, к скале Рим-

¹ Где в это время находился Кивот Завета.

мону, и побили еще на дорогах пять тысяч человек; и гнались за ними до Гидома и еще убили из них две тысячи человек.

Убежавших же к Риммону, в пустыню, было шестьсот человек, и оставались они там в каменной горе Риммоне четыре месяца. Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым и поразили их мечом, и людей в городе, и скот, и все, что ни встречалось [во всех городах], и все находившиеся на пути города сожгли огнем.

И поклялись израильтяне в Массифе, (перед кивотом завета), говоря: никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в замужество. И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера пред Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали, и сказали: «Господи, Боже Израилев! для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена!» (*Книга Судей Израилевых*, гл. XX–XXI).

VII

«Caesar dando, sublevando, ignoscendo, — Cato nihil largiundo gloriam adeptus est; ita, <...> quo minus eam petebat, eo magis adsequabatur»¹, — в этом известном противополжении, сделанном Саллюстием между двумя государственными мужами, дан комплекс идей, слов, которому мы не только не найдем никаких аналогий в Библии, но, прочитав которые, без труда догадаемся, что и обратно: в фактуре этого языка невыразима вовсе большая часть понятий и отношений, изложенных в Библии, невыразима иначе, как только внешним образом.

Язык во внутреннем, неуловимом своем складе вырастает с историей народа; всякий великий поворот фактов в ней, и с ним обычно связанный поворот мыслей и чувств — оставляет не в словах только, не в названиях, именах, но в самой манере сочетать их, некоторый очень малый склад; и совокупность всех этих поворотов, по мере того как история народа близится к своему завершению, все учащая и учащая эти следы свои в языке, все более и более оставляя на нем знаков, наконец формируют его в абсолютно неподвижное и вместе абсолютно неразрушимое хранилище народного духа. Уничтожение в истории или, напротив, в ней торжество; замкнутая в семейном кругу жизнь, или, напротив, жизнь исполненная публичности; преобладание права

¹ «Цезарь податливостью, снисхождением, закрытием глаз на слабое, Катон же ни в чем не давая послабления — приобрел славу; поэтому-то, чем менее искал ее, тем более ее приобрел» <Саллюстий. «Заговор Катилины». 54, 3–6>.

над религией или религии над правом; могущество, достигнутое силою или, наоборот, хитростью и вероломством; публичность, в ведении ли государственных дел сказывающаяся или же только в ведении обширных торговых оборотов; преобладание тревог извне или смут внутри — все это выразится в запутанности или ясности синтаксиса, в строении фразы ровном или порывистом, в сжатости или раскидистости речи, в повторениях или умолчаниях:

«Omnes homines, patres conscripti, qui de rebus dubiis consultant, ab odio, inimicitia, ira atque misericordia vacuos esse decet. Haud facile animus verum providet, ubi illa officuiunt, neque quisquam omnium libidine simul et usui paruit. Ubi intenderis ingenium, valet. Si libido possidet, ea dominator; amicus nihil valet»¹.

Как не похоже это на вопль, поднятый в Массифе: «Господи, Боже Израилев! Для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена». И мы живо чувствуем, что ни при каких усилиях народ, так восклицавший, не смог бы согнуть фразу следующего смысла:

«Iustitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi» <Дигесты I 1, 10 pr.>.

ни, даже, произнести этих простых суждений и разделений:

«Publicum jus est quod ad statum rei Romani spectat; privatum — quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatum» <Дигесты I 1, 1, 1 pr.>.

или еще сформулировать так:

«Ornne jus, quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones» <Дигесты I 5, 1 pr.>².

¹ «Все люди, которые о делах сомнительных произносят суждение, должны быть пусты от ненависти, дружелюбия, раздражения, сострадания. Нелегко провидит истину душа, в коей недрятся эти страсти, и не было никого, кто одновременно и бедовал бы своему влечению, и согласовался с настоящей пользой. Там только, где напрягает весь свой ум — он действует; где же допускаешь страсть свою овладеть им, они и господствуют, а он остается беспомощен». Речь Цезаря. <Саллюстий. 51, 1–2.>

² Из первых глав Пандект — основные определения права.

Напротив, он или нетерпеливо сказал бы:

«Если свидетель на суде — свидетель ложный, если он ложно свидетельствует на брата своего: то сделай ему то, что он зло умышлял против брата своего; и [так] истреби зло из среды себя. И прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит глаз твой его: душу за душу, глаз за глаз, руку за руку, ногу за ногу» (*Второзаконие*, гл. XIX, 18–21).

Или кротко, с состраданием увещевал бы:

«Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог; постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу.

Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея у себя залог его; возврати ему залог при захождении солнца, чтоб он лег спать в одежде своей и благословил тебя: и тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим.

Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его; чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха.

Не суди превратно пришельца, сироту и вдову, и у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь, Бог твой, освободил тебя оттуда: посему я и повелеваю тебе делать сие»¹ (*Второзаконие*, гл. XXIV, 10–18).

¹ Законодательство еврейское почти в той же мере выше римского или какого-либо другого, в какой законодательствующий в нем выше преторов римских, французских легистов, наших законовевдов. И это не только в духе своем, мотивах, целях, но и по прямому, грубому результату; ибо если *salus reipublicae* – *suprema lex* <общественное благо – высший закон>, то, напр., римское законодательство вовсе не охранило от разрушения внутреннего и гибели внешней объекта своего применения и субъекта своего сознания римский народ; напротив, законодательство еврейское выполнило это, и, след., именно оно есть *suprema lex*. Без сомнения, однако, человеческие прибавления имеют место в законоположениях евреев (напр., в конце статьи о лжесвидетелях). Если мы обратим внимание на *мотив* показаний в разных законах (и также на *господствующее* содержание законодательства), то увидим, что в Риме они имеют значение *устрашения* и *предупреждения* (т. е. проступков, напр. см. законы о собственности) или еще простую волю *suum cuique tribuere* <воздать каждому свое> у русских, напротив, значение простого средства упорядочение быта, позднее (в XIX в.) почти только упорядочения спо-

Нравственный момент, в первом случае *гнева* и во втором *со-страдания* — присутствует в этих законодательных требованиях; равно нет тут формул, безлично-абстрактных, как и нет вовсе определений и правильной классификации. Обобщение не закрывает собою несколько конкретного: это конкретное во всей яркости стоит перед взглядом законодателя (мы говорим о позднейших дополнениях к первоначальному закону), оно бьет с силою непосредственного факта в его воображение и поэтому, быть может, так мучительно волнует его, то пробуждая в нем почти нежность, то вызывая пароксизм негодования. «Ногу за ногу, руку за руку, глаз за глаз» — это почти крик справедливой души, уже представляющей себе (или вспоминаящей что-нибудь аналогичное), как непорочную Сусанну, оклеветанную именно вследствие готовности «скорее впасть в руки человеческие, нежели согрешить перед Богом», ведут на побиение камнями те люди, пасть с которыми она не захотела. Во всяком случае, это не есть постановление строгого ума, обобщившего мириады фактов, все их умерившего в значении, обесценившего ль красок времени и места, из всех их выпустившего кровь и оставившего только нужную ему форму.

Печать абстракции, обобщения, отсутствия индивидуального и живого сказывается и в тех кратких отрывках, которые мы привели ранее и из которых один пытается охарактеризовать два определенных лица, а второй представляет обращение одного лица к другим в момент величайшей тревоги своей и их (заговор Каталины). И также, где бы мы ни раскрыли римскую прозу, — мы не почувствуем в ней *лица* говорящего и тех лиц, к которым она обращена иначе как в качествах их самых общих, в качествах часто очень великих, но всегда «героических», никогда — домашнего, внутреннего, интимного характера. Если, далее, мы обратим внимание на то, которые именно из качеств душевных здесь господствует, то мы увидим, что это — *воля* и *мысль*, еще

сборов административного урегулирования жизни страны; вопрос о *suum cuique tribuere* он бледен, неясен: у нас *omne tributum in idea regi, in re magistratui*, и страна управляется не столько законами, неудобными по своей общности неподвижности, сколько циркулярными к ним распоряжениями, действующими быстро, конкретно и послушными в руке управляющего (от всех этих черт — обилие в русском законодательстве «положений» и «уставов», т. е. целых систем законов, обнимающих какую-нибудь сторону быта народного, напр. военную, торговую, землевладельческую, обилие — «приложений», «примечаний 1, 2, 3», «пунктов *a, б, в*», «разъяснений», и пр.). Всякий почти закон в России есть способ воздействия управляющего на управляемого, а не определение права, кому-либо принадлежащего. У евреев мотив наказания есть и не устрашение (хотя об этом упоминается), и не «установление полезного», а гнев, негодование возмущенного нравственного человека.

уже, еще точнее — *обобщение* и *порыв*. Покорить и связать — это есть центральное биение римской истории, и пульс, ее дыхание, которое от Палатинского холма имело силу досягнуть, ни в чем существенно не изменившись, до непереступаемых пустынь Месопотамии, Сахары и дебрей незаселенной Европы. Столь исключительный и узкий, столь вместе мощный гений не мог не наложить печать свою и на язык народа.

Римский язык есть существенно ораторский: отнять возможность возразить или способность не понять есть скрытый мотив, руководивший в долгих поколениях миллионами уст, слагавших латинские предложения, и этот мотив наложил на эти предложения своеобразную форму; самая конструкция предложения — с глаголом в конце, т. е. на конце с главным словом, которое требует к себе всего внимания слушателя, должно особенно его поразить, сковать его желания хоть на минуту; сокращение целых предложений, обстоятельственных и дополнительных, в простые дополнения (обороты *accusativus cum infinitivus* и *absolutus*), — все, приспособленное к сжатости, силе, все вместе абсолютно не способное к выражению раскрывающегося в душе человека, моментов всякого в ней зарождения, колебания, перехода — одинаково вытекли из самых целей речи, которою человек господствовал или хотел господствовать над равными в собраниях, в поле — над рабами, в семье — над женою и детьми, как господствовал вне отечества над врагами оружием. Обилие форм повелительного наклонения, без видов смягчения, ласки, нежного призыва; странные супинные формы (на *im*), где уже скрыта цель *движение* в самой форме глагола и не нужно для обозначения ее никаких вспомогательных предлогов или посредствующих предложений; еще более странные герундивные формы, где в окончании глагола выражения идея *долга*, *обязанности*, исполнение которых безусловно ожидается — все это равно вытекло из господствующих мотивов, которые внутренне бились в римской речи от времен очень раннего ее формообразования и до конца.

Отсюда как *общий вид* этой речи — сила и некоторое внешнее великолепие:

«Unde enim pietas aut a quibus religio? unde jus aut gentium aut hoc ipsum civile quod dicitur? Unde justitia, fides, aequitas? Unde pudor, continentia, fuga turpitudinis, adpetentia laudis et honestatis? Unde in laboribus et periculis fortitudo? nempe ab iis, qui haec disciplinis informata alia moribus confirmarunt, sanderunt autem alia legibus» (Cic[cero], De r. p., I, 2).

Также — совершенная прозрачность течения мысли и ее состава:

«Hinc enim ilia et apud Graecos exempla, Miltiadem victorem domitoremque Persarum nondum sanatis vulneribus iis, quae corpore adverso in clarissima victoria accepisset, vitam ex hostium telis servatam in civium vinclis profudisse, et Themistoclem patria, quam liberavisset, pulsum atque proterritum non in Graeciae portus per se servatos, sed in barbariae sinus confugisse, quam adflixerat» (ibid., I, 3).

Все указанные особенности, не повторяющиеся ни в каком еще другом языке, сделали язык маленькой и грубой итальянской общины лучшим методическим орудием образования ума у всех просвещенных народов, средством для обмена мыслей в области, где ясность есть первое требование, и, наконец, языком науки и философии. Школа до сих пор, дипломатия и наука очень долгое время, равно не находили национальные языки удобными для некоторых специфических целей; и, наоборот, по крайней мере дипломатия и наука оставили этот язык, как только перешли к целям более сложным, к содержанию — более утонченному или более глубокому. *Systema naturae* Линнея без труда могла быть написана на латинском языке; она могла быть написана на нем удобнее, чем на всяком другом; но уже Лейбниц чрезвычайно тонкие, и, главное, *жизненные* понятия своей философии предпочитал излагать на французском языке¹; и, также, мы не можем представить себе, каким образом Шеллинг или Гегель изложили бы содержание своих *неуловимо-подвижных* идей на этом языке или как на нем же Шопенгауэр выразил бы свое учение об утверждении воли и об отрицании воли, как двух моментов мирового генезиса. Всякое *прозябание* (выражаясь метафизически), все, к чему нужно *прислушаться, приглядываться*, во что нужно *вдумываться* — неуловимо для этого языка; всякий *факт*, каждая *вещь*, что положенное на руку — тянет, поставленное перед глазами — задерживает свет, все темное и грубое выразимо на этом языке лучше, чем на всяком ином. «O, mi fili» — это вовсе не то, что «чадо мое», и «чадо мое» не переводимо на латинский язык; как и обратно, гордое «civis romanus sum» — собственно, не пере-

¹ Замечательно, что ни Декарт, ни Спиноза, с их более определенной, резче очерченной системой мысли, не чувствовали этой необходимости. Но уже после Лейбница, его ученик, Вольф, чрезвычайно поверхностно понявший своего учителя, вернулся снова к латинскому языку.

водимо, не вырази́мо ни на каком языке: это есть идиотизм латинского.

VIII

Чего же, собственно, это есть идиотизм? Этимологии ли? синтаксиса ли латинского языка? Нет, но — его ритма. Тот *spiritus crescens*, который неуловимо живет и никогда не умирает в стиле каждого своеобразного и сильного писателя, составляя личную его особенность, — он живет и в ритме языка каждого значительного в истории народа, составляя также особенность его лица. Без сомнения, Муций Сцевола никогда не произносил этого ответа; быть может, не было никогда ни его, ни Этрусского царя, которому он это сказал, — но когда после Гракхов, после Суллы, после Цезаря, после грозного «*Annibal ante portam*» <<Ганнибал у ворот» / Цицерон. «Филиппики». I 11> — и лаконического «*saveant consuls — ne quid detrimenti respublica caperet*» <<Да позаботятся консулы, чтобы государство не потерпело ущерба» — стандартная формула постановления сена, в литературе встречается неоднократно. См.: Цицерон. «Против Каталины». I 4> — случилось римскому историку написать страницу, где горожанин зачинающейся общины определил бы себя, его *stylus* не мог не написать, а написав — выразил всю римскую историю в кратком, не развивающемся, не продолжающемся предложении: «*civis romanus sum*». Это — так ясно; тут — ничего не подразумевается; не нужно разграничивать и определять эпохи, к которым термин относится; *sum* на конце — это твердость бытия, которому не предстоит исчезнуть, это вовсе не «я есмь», не «*je suis*» и еще менее робкое «*ich bin*», где «*ich*», «*je*», «*я*» так господствует над «*citoyen*», «горожанин», «бюргер», и, кажется, что это «*citoyen*» есть только определение к нему, вовсе не покрывающее всего определяемого, не исчерпывающее бытие его не поглощающее его лица. «*Civis romanus sum*» — это значит: «гражданин римский перед тобою», каковым случилось на этот миг, на этом месте «*мне быть*»; «я — гражданин», это значит: «перед тобой лицо мое, которое если ты не хочешь уважить — может быть, уважишь права, мною случайно носимые». Первое выражение угрожает, оно, во всяком, случае *наступает*; второе — просит или, по крайней мере, защищается; то ничего по сторонам не смотрит, не ищет, на что опереться, это — хотело бы прибавить к себе титулов, сослаться на чин или еще лучше показать деньги, последний и самый непререкаемый аргумент всякого достоинства. Таким образом, два абсолютно одинаковые по своему точному смыслу предложения в силу того, что в одном местоимение выделено из глагола, а в другом оно скрыто и, далее, самый глагол в одном предложении ослабился до

значения простой связки между подлежащим и сказуемым, а в другом он совершенно тверд и произносится с ударением на конце — являются не только не одинаковыми, но даже несравнимыми, разнородными в той самой степени, в какой несравнима история народов, сформировавших эти языки.

В обширных выдержках, какие выше мы привели из *Книги Судей Израилевых* — собственно только два мотива из трех отмеченных выразимы на латинском языке: это — хамитский мотив чувственности, и, далее, мотив гнева и мести. В истории оскорбленной Лукреции и еще более — Виргинии, заколотой отцом, который не хотел отдать ее в наложницы жестокому децемвиру — мы находим факты, аналогичные взятым из еврейской жизни; по этой податливости и покорности духа, этого «вот возьмите дочь у меня, но не трогайте пришельца в моем доме», «повеселите еще сердце свое — до захода солнца, до его восхода, до нового захода», этих ласкающих, любовных, святых, *семитических* слов мы не найдем в римском языке, как не найдем обычаев аналогичных в римском быте. Все это может поэтому быть передано на латинском языке, — но без звучащего в тех словах тембра; без нежности, без ласки, без любви; без этой *святости* как специфически семитического. «Чада» древних евреев, говоря метафорически, переведутся всюду не как «дети» даже, но как «сыновья» и «дочери» — в связи животной, в порядке связи юридической, без атмосферы их окружающей любви, их проникающего сострадания, без «ногу за ногу, глаз за глаз, руку за руку» трепещущей над детьми своими святой орлицы.

IX

Если мы перейдем от Библии к евангелистам и к Апостольским посланиям — мы почувствуем, что, при разросшейся и все наполняющей собою святости, в них исчезли вовсе первые два мотива; не говоря о хамитическом мотиве чувственности, и мотив гнева, длящейся памяти о злом — исчез. Мы в нем не найдем строк, подобных этим словам умирающего Давида к сыну, которыми он оканчивает свое завещание ему:

«Еще — ты знаешь, что сделал мне Иоав¹, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска Израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амессаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обагряв кровию бранною пояс на чреслах своих и обувы на ногах своих.

¹ Любимый и доверенный военачальник Давида, спасавший не однажды его от смертельной опасности, но, между прочим, умертвивший Авессалома.

*Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю*¹.

...Вот еще у тебя Семей, сын Геры Вениамитянина из Бахурима; он злословил меня тяжким злословием, когда я шел² в Маханаим; но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: я не умерщвлю тебя мечом.

Ты же не оставь его безнаказанным; ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы низвести седину его в крови в преисподнюю»³ (*Третья книга царств*, II, 5–9).

Так говорил умирающий.

«И почил Давид с отцами своими и погребен был в городе Давидовом», — заканчивает слова эти Летопись царей израильских.

В. Розанов

Сканирование, распознавание, вычитка и оформление выполнены коллективом сайта

<http://varvarin.ru>

¹ Он был умерщвлен, по приказанию Соломона, у самого жертвенника, куда, спасаясь, бежал в страхе преследования.

² Убегая от Авессалома. После гибели Авессалома, Семей первый явился к Давиду и он его простил.

³ И это завещание было исполнено Соломоном.